

души не чаяли. Впрочем, это чувство к нему питали все — от первого руководителя нефтеразведки Агакурбана Алиева до строителя Рошина, от телефонисток на коммутаторе и до рыжеватого застенчивого юноши испанца Льяноса, которого Кармен обучил своему сложному ремеслу, но не смог научить правильному русскому произношению. Так тот и ходил за ним, почтительно шепелявя: «Роман Лазаревич».

«Хочешь познать человека, отправляйся с ним в дальнюю дорогу», — гласит старая азербайджанская пословица, а мы находились в пути, в этом чудо-городе, поднятом над каспийскими водами, где метр за метром наращивались полтора километра пленки, призванные увековечить этот несравненный подвиг азербайджанского рабочего класса, и Роман Лазаревич ежедневно, а иногда и ежечасно поворачивался к нам все новыми необыкновенными гранями.

Располагая огромными знаниями, блестящей памятью, мысля — не будем бояться истерости этого выражения — в глобальных масштабах, он рассматривал каждое явление в своем, оригинальном ракурсе, ставя в центр внимания всего одно событие, одного человека и всего лишь несколько резких контрастных деталей, из которых складывалось новое представление о явлении в целом.

Вечерами, уютно расположившись на койке или в кресле составляющем единственную роскошь нашего спартанского жилья, покуривая сигарету и зажав по привычке в кулак станок или чай, Кармен рассказывал. Об Испании — не о том, как были расположены противоборствующие силы, какую тактику избрали республиканские части, а такую — франки-

саторы уже яростно бросались с одного мата в другое, что бы не пропустить ни одного неповторимого момента.

Было бы нечестным утверждать, что выдающийся мастер не был честолюбив — честолюбие, как известно, не тщеславие, а достигнутой славы дорожка: когда фильм был показан объединенному пленному всех творческих организаций страны и в бурном восторге Александр Александрович Фадеев бросился на сцену и воскликнул, что вот-де, мол, они, герои труда, поднятые Карменом на высоту большой поэзии, Роман не стеснялся слез счастья, скатывающихся по его щекам.

Он понимал, что его профессия подразумевает мгновенную реакцию — поезд еще догонит на такси на следующей станции, но событие не догонит: не понимал ли он, что, фиксируя исторические акции, он талантом и мастерством создает непреходящие ценности и в художественном смысле? Видно, понимал, иначе с самолюбивой щедростью, переходящей в беспощадность к себе, не растративал бы нервную энергию. И не находился бы в поиске — в постоянном, мучительном поиске найти «как», довольствуясь тем, что окружающая реальность щедро предоставляет ему «что».

Его фильм «Повесть о нефтяниках Каспия» прошел по стране и за ее рубежами, выложил до конца потенциал воздействия на людские массы, а Кармен — в письмах, телефонных звонках, встречах — постепенно заставлял задумываться о следующей работе на

полон желания постичь ее во всех новых возможных и невозможных проявлениях.

Наверное, это-то качество постоянно бросало его на передний край времени, туда, где решается нечто очень важное для истории.

Для этого требуется неподдельное мужество, из которого рождается подвиг, и мне уже приходилось писать, что, вымываясь в природу подвига, последний можно разделить на два рода: короткий, требующий максимальной волевой отдачи акт, когда, скажем, боец грудью закрывает ствол вражеского пулемета, и акт долговременный, лишенный броскости, но постепенно вырастающий в гакую же высокую вершину. Поздним летним вечером мы возвращались из Красной Пахры в Москву с дачи Романа с летчиком Мазуруком, тогда, на шестом уже десятке, все еще продолжавшим летать во мглу северной ночи, и он поделился мыслями по поводу смелости Кармена: не игнорируя бесстрашия, проявленного в Испании и на фронтах Отечественной, Мазурук говорил, что Кармен покорила его своим мужеством еще во время многомесячной зимовки на Земле Франца-Иосифа, в наспех сколоченном домике, вокруг которого бродили белые медведи, на ограниченном пайке, на узких нарах, поставленных одна на другую.

Начальник зимовки рассудил, что хуже холода и голода на нее будет влиять вынужденное безделье, и расписал железные правила, предусматривающие максимальную загрузку от подъема до отхода ко сну.

странную записку с просьбой не искать его, поскольку ему «надоело отражаться в чужих зеркалах».

Было от чего потерять голову, являясь объектом внимания на полированный край стола, почасал мизинцем манушну и бзз всякого к тому повода расхохотался.

— Я почти в положении Непмировича-Данченко, — пояснил он аллоизм своего поведения, являясь напосаком на давно рассазанную им театральную «байку»: Непмирович, сидя в зале, ждал со зрительскими впечатлениями эффект от возникающей перед взором сказочной декорации с деумя елочнымими, а машинист сены повернул круг, не на право, а налево, обнажив уродливую изнанку декорации и торопливо дождавшегося бутерброд артиста. Непмирович убежал из зала в кабинет, где его нашли ползающим голову водой из графина и приговаривающим: «Только спойной!».

Кармен же сказал:

— Найду Караева. Он обижен, что при монтаже выпал большой музыкальный кусок.

И он нашел, рано утром, у друзей, привез, а тот решительно заявил, что только из-за злости сутки не встанет из-за роля, пока не отправит злополучную музыку к записи.

И написал такую музыку, что при записи «Реквиема» дирижер и исполнители плакали, а Кармен медленно опустился на колени и воздел руки к потолку.

— Кара, с этим можно было опоздать не на день, а на год! — воскликнул он.

Он вообще был добрым к друзьям, радовался их удачам, огорчался при бедах — оно и понятно: будь в нем капля равнодушия, повторяю, из него не вырос бы крупный боец, до каждой клетки остро ощущавший свою правоту в политических и социальных столкновениях мира; он не просто регистрировал скамью подсудимых в Нюрнберге — все, кто на ней сидел, были еще и его личными врагами, и он клеймил их как личных врагов: видел я кадр с гитлеровскими преступниками в иностранной хронике: ну, кадр, ну, идут снятые в фас и профиль подсудимые, впереди Геринг, закрывающий папкой лицо от света юпитеров. В той хронике так и сказано — «свет юпитеров ослепляет Геринга», а Кармен снял то же самое, чтобы потом сурово произнести: «Не закрывайте лица, Геринг, оно известно всему человечеству!» Разница огромная, рожденная не только обостренным видением в сочетании со страстным словом, а и позицией художника, открыто демонстрирующего эту позицию. Насколько лет назад он ослепил нас фильмом «Сердце Корвалана», и каждый, кто приветствовал его, казалось, обнимал самого Корвалана, тогда еще томившегося в плену восточном застенке.

Ясность и чистота идейных убеждений правил чувствами и поступками Кармена, возвышая его внутренний мир гуманиста, интернационалиста, коммуниста.

Как сейчас помню: на побеге Адриатики, в Триесте, меня познакомили с участником Сопротивления — невысоким худощавым стариком опиравшимся на палку. Это и был антифашист «Капитан Карлос».

— Нравится мне Кармен, — узнав, что мы дружим, сказал он, — непонятно хвастостью, но может отыграть один солдат в другой солдат, а, будучи знаменитостью, нос звание Героя Социалистического Труда и народного артиста СССР, находясь на высших общественных постах и одновременно занимаясь обучением молодых своей легкой профессией, мастер был и остался солдатом.

У него было уже два рубца на сердце, когда он взялся, казалось бы, за фантастическую задачу — срочно смонтировать двадцать фильмов о великой войне своей Отчизны с фашистским нашествием, чтобы показать их американскому телевизионному зрителю, — свыше восьмидесяти процентов из них продолжают оставаться в неведении, почему стоил тогда фунт лиха.

Он шел к финалу своего последнего боя, когда мы встретились в Москве в начале весны этого года, — позвонил, спросил о житье-бытье, насмешливо поинтересовался, не безнадежно ли болен снова, попросил спуститься вниз, к подъезду гостиницы.

Через четверть часа я сидел рядом с ним в машине, на дворе было холодно, он включил отопление, и, решив не подниматься наверх и не ехать к нему домой, мы поудобнее устроились на сиденьях.

Кармен не говорил о тех пентах, что скоро пойдут в Америку: неторопливо, будто подбирал поточнее слова, он предложил начать все-таки думать еще об одном фильме о морских нефтедобытчиках, превратить существующую диалогию в трилогию.

— Большие глубины, новейшая техника, экологическая проблема — сохранить море чистым, — говорил он. — И люди, люди, люди... Типа Исрафила Гусейнова... Чтобы через них просматривался весь Азербайджан последних лет...

Мы договорились обо всем до мелочей, и он, правой рукой держа баранку, левой помахал мне, лихо заворачивая на улицу Горького.

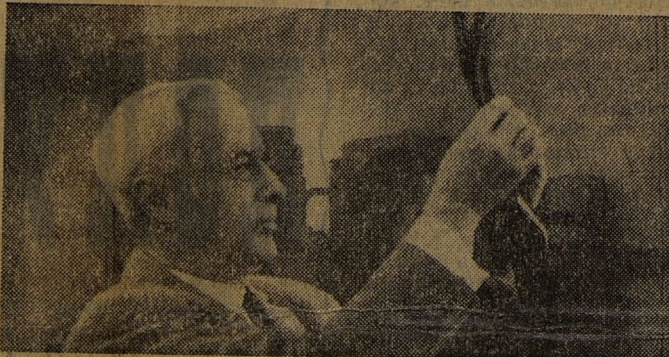
Кто мог предположить, что это было прощальное приветствие?

Больше его не будет — ни нежной эмульсии, объясняя, ни искорок в серых глазах, ни взрывной динамики, ни встреч, устремленных в завтра, но никогда не появляться думы о Кармене в прошлом, а не в настоящем времени. И как мы сделаем фильм без него, когда, с кем — даже и не знаю. Знаю только, что во всем подтексте этого фильма будет трепетно биться его огромное сердце. Сердце Кармена.

Имран

КАСУМОВ

СЕРДЦЕ КАРМЕНА



ты, нет, он брал конкретный факт и неожиданно раскалывал его, будто ножом («Сноса бомбит Мадрид, выбегаю из переулка на площадь, в центре площади сидит грузный дядька в очках, с флягой в руке. Я присел рядом отдыхать. Он отхлебывает от фляги, протягивает мне. Я тоже отхлебнул. Этак с издевкой спрашиваю, а зачем посреди площади сидеть? — «Инстинкт самосохранения», — отвечает. — Отлежь ведь бомбят». Знакомимся, Хемингуэй». Или: «Был в интербригаде итальянец Видали, там его звали «капитаном Карлосом». Отчаянной смелости парень. Спрашиваю: страшно совсем не бедаешь? — Постоянно в страхе, — говорит, — ведь убит могут».

Он рассказывал, вспыхивали искорки в его глазах, и, хотя он называл свои короткие повествования «байками», мы заново путешествовали по мирам рыцаря печального образа и его трагических минут, затем переносились в безмолвие арктических льдов, затем в грохот уличных боев возле райстага.

Во всех этих «байках» Кармен — сам был действующим лицом — не гитлеровским плане, будто от него-то лично не требовалось стагаи снимать штурм Толедо, на его долю не выпали мытарства полярной зимовки и не ему — величайшая ответственность заснять процедуру капитуляции гитлеровской Германии. («Только успевать управлять с аппаратурой, со светом, входить представители союзных армий во главе с Жуковым, спуска немного ввели Кейтла. Он взял ручку, поменял, подписал акт, а я успел на ручку нацелиться. Ну, медленно поплыл в голове, — этот сувенир не упусти». Снимаю стол, сидящих, снимаю зал, поворачиваюсь снова к столу — ручки уже нет. Как в воду нанула»).

Горючим, Кармен не уехал из Германии, когда он жил на Мосфильмовской улице, вилла жителя дача-указатель главной берлинской улицы Унтер-ден-Линден, вся изрешеченная пулями в последнем сражении — перед ней заминули, как перед шедшим мяготом.

Чем же заставляло Кармена отодвигать себя на второй план? Скромность? Возможно, он гораздо чаще недооценивал себя, чем переоценивал. Интеллигентность — не горячая хватка, а ровное в восьмь — гладко причесанный, выбритый, благоухающий, все с теми же смеющимися серыми глазами — он входил в комнату, чтобы выйти из нее в восьмь вечера. Поразительная трудоспособность Кармена не секрет даже для того, кто его ни разу не видел, но секрет такой способности в разгадал не в лауре, не на съёмочных площадках, а в павильонах студий, в номере-гостинице: он умел отключаться и, так как хмурились стучит машинной час, полтора два, потом вдруг снимает очки и предлагает, скажем, съездить по банану (что даче за заплата в бумфете. Что ж, съездить так съездить. Но надо было видеть Кармена в этот передевший — он не принимал пищу, а священнодействовал, счищая кожуру с маленького, сморщенного замороженного плода, успевая сообщить, что ему, приходясь бананом, табытом богом и людьми острое что-то возле Длинноты, уверять в наличии в бананах мощных витаминов, углубляющих мозговые извилинки, коротко говоря в комнате воячаясь коротким праздничным, тот растаявший миг, который, присоединяясь к тысячам других, превращает в праздник всю жизнь.

А жизнь для Кармена с его редкостью якой, но и трудной судьбой, с сопровождающими радости немощными тревогами и болями была единоды дарованным праздником: его элегантность, даже походка и даже манера разговаривать могли бы со стороны оцениваться как раз и навсегда выбранный стереотип, имеющий какие-то подражательные корни, если бы не сразу обнаруживаемое полное отсутствие намека на снобизм, на этакую исключительность: Кармен был неизменно жаден до жизни,

эту тему: в море шли интересные жизненные процессы, наращивались металлические надводные магистраль, формировалось уже второе поколение нефтедобытчиков, практически стиралась разница между интеллектуальным усилием и напряжением мышц. Тем не менее спелая стихия продолжала оставаться слепой — в ураганную ночь в ноябре пятьдесят седьмого года погибла вся буровая партия во главе с одним из первооткрывателей Нефтяных Камней Михаилом Каверочкиным (тем самым, что находился в памятном кадре предыдущего фильма — возле ведра с первой нефтью, в упомини победы обмывавшая ею лица разведчиков).

Весть об этом бедствии потрясла Кармена. Он писал, что энтури у него образовался какой-то вакуум, и, видимо, решив, что мудр принцип («Клином вышибают»), через несколько недель пригласил меня в Москву писать новый сценарий — о советском человеке, не плавающем по морю, а впервые гордо астаившем посреди него и принявшем вызов природы.

Мы возвратились на «Круги своя» — утром, без пяти восьми, я видел из гостиничного окна, как знакомая черная белая машина паркуется в шеренге машин вдоль тротуара, а ровно в восемь — гладко причесанный, выбритый, благоухающий, все с теми же смеющимися серыми глазами — он входил в комнату, чтобы выйти из нее в восьмь вечера.

Поразительная трудоспособность Кармена не секрет даже для того, кто его ни разу не видел, но секрет такой способности в разгадал не в лауре, не на съёмочных площадках, а в павильонах студий, в номере-гостинице: он умел отключаться и, так как хмурились стучит машинной час, полтора два, потом вдруг снимает очки и предлагает, скажем, съездить по банану (что даче за заплата в бумфете. Что ж, съездить так съездить. Но надо было видеть Кармена в этот передевший — он не принимал пищу, а священнодействовал, счищая кожуру с маленького, сморщенного замороженного плода, успевая сообщить, что ему, приходясь бананом, табытом богом и людьми острое что-то возле Длинноты, уверять в наличии в бананах мощных витаминов, углубляющих мозговые извилинки, коротко говоря в комнате воячаясь коротким праздничным, тот растаявший миг, который, присоединяясь к тысячам других, превращает в праздник всю жизнь.

А жизнь для Кармена с его редкостью якой, но и трудной судьбой, с сопровождающими радости немощными тревогами и болями была единоды дарованным праздником: его элегантность, даже походка и даже манера разговаривать могли бы со стороны оцениваться как раз и навсегда выбранный стереотип, имеющий какие-то подражательные корни, если бы не сразу обнаруживаемое полное отсутствие намека на снобизм, на этакую исключительность: Кармен был неизменно жаден до жизни,

эпизоды этого события мы видели в кино, а значимил-то нас с ним Кармен. Оно, это имя, стало уже легендой, тогда началась первая смертельная схватка с фашистским драконом, — мы могли не только назвать, но и описать Университетский городок и Гадалахару, могли быть гильдами на площадях Мадрида и Барселоны, даже точно показать место, где происходил конгресс писателей в защиту мировой культуры, и все-все — благодаря тому же Кармену.

Наши юношеские головы пленяла романтика покорения Арктики — мы стояли в очереди у газетных киосков, принадлежали к своим самодельным или покупным детекторным приемникам, стараясь точно попасть проклятой иглой на нужную грань кристаллика, чтобы узнать новые подробности, бравировали именами Шмидта и Панинина, Водопьянова, Каманина и Мазурука, опять бегали в кино — и опять это связывалось с вездесущим Карменом. Потом была никогда не забываемая Великая Отечественная, укрупленно и выразительно запечатленная для будущих поколений, торжество Победы, подписание капитуляции гитлеровцев. Потсдам, а потом всемирный суд над вандализмом двадцатого века — Нюрнбергский процесс, во всех деталях увиденный опять же через объектив карменовской кинокамеры...

Зажав в кулак стаканчик «армуды» с чаем, Кармен внимательно слушал, улыбался — не губами, а искорками в серых пристальных глазах и, казалось бы, сожалел, сказал: — Мне уже идет сорок седьмой год.

Тогда нам действительно казалось, что это очень много, а в нашем народе принято почитать старших, и я умолчал еще об одной причине, тревожащей меня перед таким заманчивым предложением, — дело в том, что я считал себя безнадежно больным, несмотря на успокоительные заверения врачей.

Мы уговорились встретиться послезавтра, а именно послезавтра рано утром я решил немедленно лечь в больницу. Первое, что я увидел, войдя в больницу, палату, — это столик у окна с пишущей машинкой у одного края и стопкой бумаги у другого и сидящего на подоконнике, болтающего ногами Кармена.

— Я болен, — глухо сказал я. — Ага! — весело откликнулся Кармен.

— Сами понимаете, работать в состоянии...

— Да, работать, — показал на столик Кармен. — Если врач, с которыми я болтал битый час, окажется неправы — это будет всего лишь наша первая и последняя совместная работа.

Вместо ответа я не лег на кровать, а сел за столик.

— Кстат, — уже без смеха, жестко отчеканил Кармен, — есть мнение, что перед началом каждого фильма следует считать, что это твой последний фильм.

Сейчас, с высоты времени, эти слова приобретают все более емкий смысл — он шел от фильма к фильму, от книги к книге, от статьи к статье, как из одного сражения в другое, с такой беспредельной отдачи, будто следующих может уже и не быть.

Вот передо мной фотография — мы все в рабочих стеганых ватниках: операторы Мамедов и Медынский, режиссер-ассистент Алили, композитор Кара Караев, сам Кармен с портативной камерой через плечо. Сбоку — здание клуба и окно комнаты на втором этаже, в которой Кара Караев писал музыку к фильму, поодаль — «дежурка», сборный шитовой домик на эстакаде, где мы жили и работали — писали сценарий, переплывали, подписывали.

Работа сама по себе была трудной — нужны были лаконичные, строгие решения, предельная точность, Кармен терпеть не мог помпезных украшательства. Его интересовала Правда. С большой буквы.

Еще труднее было привыкнуть к ветрам и пенящимся штормовым валам, грозящим снести эстакаду, а заодно и разнести в щепы наш деревянный домик, но мы уезжали на берег с очередной сменой, а Кармен оставался — акуратный, невозмутимый, доброжелательный, удивительно быстро устанавливающий контакты с людьми: уж на что разные характеры были у прославленного мастера Михаила Каверочкина или, скажем, у его бывшего ученика, не менее прославленного Курбана Аббасова, а они оба вскоре в Кармене

...ПРОШЛИ дни и ночи с той минуты, когда диктор телевидения сообщил, что не стало Романа Кармена, и все эти дни и ночи переживая утрату, я пришел к одной мысли — будет притупляться острая боль, но никогда не смогу я думать о Кармене в прошлом времени. И это не историческая фраза, а факт, а в основе этого факта лежат не только и не столько связывавшие нас четвертьвековые профессиональные и дружеские отношения, сколько уникальная сила личностного вторжения одного человека в бытие и сознание другого человека.

Наше знакомство относится к пятидесяти второму году, к предвечернему часу, когда в моей квартире раздался телефонный звонок и кто-то, чуть отшавлявшись, неторопливо сказал, что это Кармен, что он в Баку, знает, где я живу, и, если нет возражений, через пятнадцать минут может приехать для делового разговора.

Ровно через пятнадцать минут он — ослепительно красивый, с гладкочесанными на пробор серебряными волосами, контрастирующими с темносиним, безупречно сшитым пиджаком, — уже сидел за столом вместе с очеркистом Иосифом Осиповым и без предисловий предложил мне стать соавтором задуманного им фильма о нефтяниках Каспия.

Предложение было, разумеется, лестным, но, признаюсь, меня озадачило, и, почувствовав мое колебание, Кармен объяснил, что выбор его не случаен — мне, тогда молодому, довелось опубликовать несколько литературных материалов о первооткрывателях морской нефти, написать пьесу «Заря над Каспием», а кроме того, он взвесил еще одно обстоятельство — будущая лента должна несколько отличаться от чисто документальных картин, поскольку в ней будут воссозданы эпизоды прошедшей высадки первого десанта разведчиков морского дна, и участие в их воссоздании писателя-океаниста представляется далеко не бесполезным. Сдержанная, без громких слов нацеленность, за которой явственно угадывался динамизм характера, знаменитое карменовское объяснение, какой-то нежной эмульсией обволакивающее каждого (чему я был многократным свидетелем впоследствии), вскоре придали нашему разговору искреннюю доверительность, поволившую мне заметить, что этот рано поседевший наш собеседник уже не раз бывал вот в этом моем доме, и в доме, где жил я раньше, и в домах всех моих сверстников.

И это было не комплиментом, а правдой — в начале уже далеким тридцатым годом по старым и новым бакинским улицам не неслись бесконечные потоки автомобилей — они были, цветные «газизки» и черные «фордичи», даже мощный «пирс-арроу» у начальника городской пожарной охраны, но их было не столько, что мы, мальчишки, попросту не могли не окружать каждую из них, если она останавливалась у какого-нибудь подъезда, чтобы, галдя, с видом бывалых знатоков не обогащая друг друга познаниями о скоростях, прочностях шин, езде по бездорожью — ответственное автомобилестроение заявило о себе Каранумским пробегом,